

Андеграунд — словцо с выкрутасами, с барабанными прибамбасами, для частот самых низких типичное нынче, броское, заграничное.

Целенаправленный, резкий, прямолинейно-раскатистый звук его — чужд и тяжел нашему, ко всему вроде бы — только вроде бы, вот что важно запомнить, привычному, чуткому, нет, абсолютному, если с речью он дружен, слуху.

Термин с дикой, кичливой претензией — нет, вы только себе представьте — не на что-нибудь там по-

скромнее, мол, чего мелочиться, хватит, надоело, бери повыше, рой поглубже, займи пространство, да и время, врати корнями в землю, в небо пусти побеги, торопись гнездиться, плодиться, невзначай о цене рядиться с кем-нибудь, да хотя б с Хароном или с критиком, неким звоном пусть услышится кем-то что-то, не нужны ведь для слухов ноты, всеохватнее, понахальнее, посмелее, — на универсальность.

Что-то сделанное, вещественное, но никак, никогда — не духовное, что-то зримое, наподобие



Автопортрет

дорожного указателя: только в этом ездай направлении — и не вздумай в пути сворачивать никуда, ни вправо, ни влево, никуда тебе больше нельзя, только прямо, туда, куда тебе, сам ты видишь, сам слышишь, указано, — ну а больше — смотри мне, нарвешься, коль зарвешься, на неприятности, залетишь ты в зону опасную, налетишь на преграду властную, вразумят тебя мигом, умеючи, будешь знать, что по чем, — никуда.

Этакий чужеродный, белыми хлипкими нитками неведомо кем и когда наспех пришитый лейбл — на истертой, местами в клочья среди скитаний бывших изорванной, ношеной-переношеной, но зато и привычной, надежной, своего, отнюдь не заморского, не земного вовсе, незачем занимать, ведь свое-то истари нам дорожке всегда, отечественного, покроя и производства, пускай и действительно грубой, да, замечу тут же, надежной, от всех, каковы бы ни были, мыслимых и немыслимых бед столько лет защищавшей и тела наши, может, и бранные, только все еще крепкие, в шрамах и рубцах, наследье сражений, и невзгод, и всего, что пройдено, что испытано встарь когда-то, и души крылатые наши, все еще, нет, не выброшенной с глаз куда-то долой — ей-богу, жаль расставаться! — ткани минувшей эпохи.

Скрепя — не впервые — сердце, приходится, как ни брыкайся, как ни крути, увы, что ж поделаешь, так

уж вышло, так сложилось, надеюсь — временно, ни секунды не сомневаюсь, что, бесспорно, не навсегда, употреблять иногда это вот, нам навязанное, подброшенное на крыльцо, с чем-нибудь там да связанное неведомо кем, словцо.

Оно уже внедрено, оно по-своему, исподволь иногда, а то и в открытую, в лоб, впрямую, исправно, работает.

Кому-то оно удобно, наверное. Наверняка!

Выгодно, может, кому-нибудь? Не взято ведь с потолка!

Откуда-то — появилось. И — вот оно, здрасте, — пришло.

Что же нам всем остается? Только вздыхать тяжело.

Стерпится — слюбится? Так? По старинке? И — по инерции? Поскольку вот так-то — проще? Не думать. И не гадать.

Обходиться — тем, что всучили. Неизвестно — кто. И — откуда. Второпях. Наобум. Всем — оптом. Со всегдашним: пускай, сойдет.

С наплевательским: ничего, переварят, потом — привыкнут. С издевательским: вот вам всем! Получили? Довольно с вас!

Что за звук в словце — нехороший? Нежелательный. Бестолковый.

Что за смысл в словце — подземельный, да и только? И есть ли смысл?

Где же — свет? Ну, просвет хотя бы. Выход, выдох, прорыв, полет, воспарение. Где — дыханье? Где прозрение — наперед?

Неужели привыкнем к этому, нам подброшенному, словцу?

Привыкали и не к такому ведь. Сколько раз — не сочтешь век.

Неужели словцо дурацкое будет всем нам еще к лицу?

Примирится ли с ним когда-нибудь терпеливый наш человек?

Ох, не знаю. Верней: не думаю.

Настроение — впрямь угрюмое.

Ночь темна. И душа — в смятении.

От неточности — где спасение?

Покуда более или менее точное определение, как ни грусти об этом, как ни вздыхай, не найдено, куда, пожалуй, разумнее и проще куда говорить (не когда-нибудь там, потом, в отдаленном, туманном грядущем, а сейчас, в наше время, или же, что вернее, в странную пору междувременья, в дни, когда попытались мы все надыхаться и свободой, и чем-то еще, вроде воли, скорее — разгула всевозможных страстей и всяческих, на поверхности оказавшихся, непотребных

порою, вывертов и каких-то еще пируэтов, цирковых, балаганных, обманных, карнавальных — у одиночек, общемассовых, маскируемых под народные — у толпы, запрудившей вначале площади, стадионы, потом — экраны телевизоров захватившие под прицел своих цепких глаз, в ожидании многочисленных, громогласных, попсовых, любовных, а затем и кровавых зрелищ, сплошняком — негативных известий, самых свежих, горячих событий, происшествий, гламурных диковин, моды, слишком изменчивой для непривычных к такой пестроте и роскошествам всяким, голов, непрерывной стрельбы, погонь, голых девок, груди и задниц, бриллиантов, дворцов и яхт, путешествий и приключений на любой из возможных широт, заграничной, вполне устоявшейся, в пике нашей, кондовой, жизни, заграничной, легко и просто пожираемой, и глазами, и не только глазами — всем человеческим естеством, той, которую так несложно оказалось усвоить, освоить, с характерным для нас умением тут же, сразу, переосмыслить, подогнать под мерки свои, жизнью — гидрой, химерой, мнимостью, не годящейся, на поверку, чтобы жить по ее законам столь недавно еще — советским, а теперь — эсэнгэшным, российским, украинским и прочим людям, чтобы жить не явью, а просто имитацией то ли яви, то ли так, непонятно чего, бестолковщины, да и только, — но уже надышались дурманом, напитаться успели яда, всех запретных ранее, сладких, но с горчинкой, плодов, то ли райских, то ли адских, поди разберись в кутерьме повальной, вкусить, и явилось, во всей красе парфюмерной, псевдоискусство, и подобье литературы неизвестно когда расплодилось, и буквально целые армии стихотворцев, шаблонных, безликих, безголосых и безымянных, развелись, на пустом ли месте, на безрыбье ли, среди разрухи и разброда, среди новой мглы, где зажглись, вместо тех, небесных, всем привычных созвездий — галактики бесконечных, как тягомотина с пепси-колой и жвачкой, рынков, — и ушли, отодвинулись в тень, кое-кем позабылись даже достижения наши былые в настоящей литературе, в настоящем искусстве, в нашем, а не чьем-нибудь там, искусстве, в нашей, кровной, литературе, столько долгих десятилетий непрерывно гонимой, но — выжившей, уцелевшей, навек сохранившей и дышанье свое, и свет, настоящей, вовсе не мнимой, не для всех, не для масс, пусть — для избранных, понимающих, что к чему, настоящей, иначе — подлинной, настоящей, неувядаемой, прорастающей сквозь года, создаваемой — навсегда, сознаваемой как призвание, как горение, как дарение людям, ждущей от них внимания, понимания, озарения, устремленности — к свету, к чуду, к постижению движенья речи, — не затем ли в молчанье всюду зажигают ночами свечи настоящие, да такие в наших грустных

пределах есть, тоже выжили, уцелели, несмотря ни на что, читатели, наши самые дорогие, пусть неведомые порою, но вернейшие, все же, друзья), ну так вот, подчеркну опять, говорить разумней всего и проще намного сегодня: другая литература, другое искусство, другая культура, — такой вот всех примиряющий термин, предложенный — повторяю, поскольку слышал это я однажды в Москве от него самого, — Сергеем Ивановичем Чуприниным.

По крайней мере, уж это по-русски все-таки сказано.

И важнейшую эту деталь, а точнее всего — камертонный, пусть на время, покуда головы как-то разом не просветлеют у людей наконец-то, звук, пусть еще глуховатый, но все же тон всему задающий звучанию предстоящему, нарастающей и грядущей музыке всей, строю, ритму, движенью, пластике всех возможных определений, толкований решительно всех, из которых когда-нибудь, несомненно, еще появится долгожданная и чеканная, лучезарная, светлая формула, я опять-таки не случайно, а сознательно, даже больше, из упрямства, и — по чутью, по наитью, поскольку в них-то и таится зерно, из которого к свету нужный росток пробьется, чтобы в рост устремиться, подчеркиваю.

Почему? Это как — почему? Что за странный вопрос! Нет в нем надобности, ни малейшей. Да потому, что это, поймите, поверьте мне, крайне важно, жизненно важно. Как воздух, необходимо.

Уж простите меня, читатели дорогие, за тысячи раз всюду употребляемое всеми, кому не лень, и вроде бы нынче вконец заезженное выражение.

Однако — именно так. И никак не иначе. Как воздух. Нужный — для жизни слова. Поскольку слово должно, раз уж это русское слово, жить в стихии речи родной.

А то, представьте себе, этакое, разэтакое, невесть что, да и только, словно сварганенное в Голливуде мастерами по спецэффектам, —

то ли залетное, жуткое инопланетное чудовище, то ли земной мутант, —

пучится криво, по-рачьи, тычется в горло клешнями по-крабьи, при этом вопя истошно, как будто бы «черт!» бесконечное и назойливое, из штатских боевиков, неожиданно превращая в небывалое:

андегр-р-раунд!..

И едва успеваешь порою отмахнуться от наваждения поскорее, пробормотав по традиции:

чур меня, чур!

Да, подарочек — ну хоть куда.

Что с ним делать? Как быть?

И все же...

Почему тогда, почему же, объяснит ли кто-нибудь, именно оно, это вроде бы чуждое, вне всяких сомнений навязанное нам, наивным и одержимым, нам, романтикам, идеалистам, русским людям, таким, каковыми уродились, таким, как есть, ни убавить и ни прибавить, переделать нас невозможно, принимайте нас всех таковыми, вот мы, все, на виду, словцо, пробуждается вдруг в духовной глухомани пятидесятых,

пробивающимися настойчиво сквозь глушилки и щели в занавесе, том, железном, несокрушимом, всем казалось, прочно сработанном, не Левшами, конечно, другими, тоже классными специалистами, по приказу кремлевских властей, почему-то для всех убедительными голосами радиостанций чужеземных, всей мощью освоенного до последнего миллиметра, переполненного свистящими и шипящими позывными, новостями, разоблачениями, обличениями, обобщениями и подробностями эфира, и запретным, с едкой горчинкой, с холодком, по хребту сквозящим, с пересохшим горлом, с обилием возникающих столь стремительно, что не знаешь, куда их девать, воспаленных, мятущихся мыслей, с тенью страха вблизи, за стеной, с ощущением личной отваги, личных новых открытий, личной, безусловной, новой победы над всеядной, повальной ложью, с каждым новым, отнюдь не простым, шагом к правде, к честности, к вере, гипнотическим, сладостным шелестом самиздатовских, притягательных для любого из нас, для всех, если проще сказать, страниц отзывается из крылатых, несмотря на то, что пытались эти крылья подрезать, смелых и пытливых шестидесятых,

налетевшим с запада, пряным, незаметно пьянящим, дразнящим, возбуждающим, притягательным, наркотическим ветерком слишком смутно, так, по верхам, представляемой нами свободой и видениями заморских, фантастических, невозможных столь недавно, почти нереальных, но теперь обретших реальность, существующих в мире и даже достигаемых, кажется, стран томит, а кого-то и мучает, тянет к себе, призывает вырваться к ним, увидеть собственными глазами, что же в них есть такое особенное и в чем же отличие их от нашей многострадальной страны советской, в семидесятых,

всеобщей надеждой на некие желанные изменения к лучшему, пусть это лучшее расплывчато и туманно, и многое под вопросом, и нет никаких оснований считать, что действительно лучше станем жить мы, и все утрясется, перемелется, позабудется, прояснится, то слабо брезжит, то с нежданною силой вспыхивает, разгораясь подобьем зарева над строною, в восьмидесятых, — и, наконец, магической дудочкой крысолова, слышанной всеми вовремя, влечет за собой в девяностых, — дабы выйти нам всем, взявшись за руки, разом, из темноты к свету, явиться в мир — из родимых при-

вычных берлог, из обжитого подполья, из прокуренных подземелий: вот и мы, приветствуем вас, не обессудьте, земляне, принимайте нас поскорее такими, какие мы есть, со всеми нашими русскими особенностями и странностями.

Непростое словцо, действительно.

Выходит, что непростое.

Загадочный код земного, отечественного, знакомого достаточно хорошо, чтоб считать его можно было нам, по-свойски вполне, своим, обжитого, русского времени и общего, планетарного, неведомого, существующего с неизбежностью всюю, пространства, со всеми возможными тайнами и упованиями всеми, заключен в нем, никак не иначе.

Еще ведь, ну и дела, и не названо по-человечески, еще и русского имени, так-то, братцы, не получило, — а поди ж ты! — с места в карьер начинает работать, стартует, обнаруживает свою нештучную энергетику.

А все, собратья мои, товарищи дорогие по скитаниям и сражениям, одержимые общим служением речи нашей родной, которой равной в мире подлунном нет, потому, что, произнося крутоватое это словцо, через силу произнося, будто и не говорим мы, а, допустим, вместе мычим, ощущаем мы подлинность, правду, заключенную все-таки в нем, кожей чувствуем всюю, хребтом, и никуда от этого нынешнего ощущения не денешься, потому что это выстрадано, это — наше, наш, немалый, жестокий опыт, наша жизнь, земная, дарованная нам, чтоб свет в ней сберечь, наше творчество.

Кто же мы? Кто мы такие?

Мы — люди неофициальные.

Мы — другая культура, другая совсем, не советская вовсе, слава Богу и слава судьбе, слава речи родной, но — русская.

Из другой мы, как говорится, оперы. Из другой, да, другой совершенно, странной для кого-то, ну что ж, пускай так считают, не все равно ли, если было все именно так, пусть и трудной, скрывать здесь нечего, но зато и прекрасной жизни.

Я — из другой, не вашей, а нашей, литературы, — как с другой, кому-то известной, а кому-то неведомой, дальней, хоть и рядом она, рукою дотянуться можно, планеты.

И Коля Шатров, и Губанов Леня, и Ворошилов Игорь, и Величанский Саша, и все остальные, считанные, хоть и было всех нас довольно много, избранные и призванные, словом, навеки — наши...

Конечно, куда привычнее и проще теперь говорить, кому приспичит, любому, и старому, и молодому, и

критикам, и поэтам, и писателям, и художникам, разномысленным, в наши-то дни, с бестолковщиной их по-вальной, с узаконенной неразберихой, с их понятиями, перемешанными, перепутанными, подмененными неизвестно чем, с их бредовой имитацией прежних, когда-то, в годы страшные, сделанных теми, чьи заслуги не спрячешь, открытий, — неофициальные, так, и никак не иначе, и в давние времена, и в нынешние, так сложилось, литература и искусство, неофициальная, так уж вышло, сограждане, помните и в грядущем об этом, культура.

Пусть, эх, что там, была не была, слово вспыхнуло, даже — подпольные: романтичнее, согласитесь, и таинственнее, — хотя, впрочем, слишком по-заговорщицки, с отголосками всех революций, как известно, кровавых, звучит, — а значит, а то и значит, да то и значит, вы вслушайтесь в это слово, в смысл его вдумайтесь хоть разок, — не совсем то.

Подспудная, подземельная — ничего себе определение, так и хочется взять то фонарь, чтобы что-то во-круг разглядеть в темноте непроглядной, крошечной, то лопату, чтоб рыть себе лаз и наверх прорываться, хоть лучше бы с Ариадниной нитью в руке выбираться из лабиринта к свету, к людям, к природе, — культура?

Ну, это уж, братцы, и вовсе какое-то «из-под глыб»!

А может, чего там, стоит ли гадать да ломать себе головы, и без того усталые, все-таки авангард?

Но что это — что за зверь, что за птица, что за субстанция, что за сгусток энергий, кипящий новоявленной плазмой, — такое?

Опять-таки толком никто сроду не объяснит.

Речь идет о нашей стране.

И она, как известно многим, а может быть, даже, и всем землянам, на протяжении долгих тысячелетий, за которые мы, увы, чего только не наслушались о себе, совершенно, представьте, решительно не похожа на другие, со всех четырех сторон поступательно, плотно обступившие нас, окружившие и пытающиеся, особенно в последнее десятилетие ушедшего века, а также в начале нового века, свысока, в основном, с высоты демократии и свободы снисходительно, с едким прищуром все поглядывая на нас до вздыхая о нас, заблудших, неразумных и бестолковых, несговорчивых, гордых, упрямых, этак вроде бы миролюбиво, по-отечески прямо, участливо вразумлять нас, таких-сяких, напроказивших, набузивших, не желающих признавать и грехи, и ошибки свои, чуть ли не по-матерински журить и почти по-братски наставлять нас на путь, по их, не по нашему вовсе, мнению, вот что сразу в глаза бросается, настояжывает, заставляет поневоле задуматься, истинный, имеющий, не без этого, понятное дело, свои характер-

ные, скажем так, особенности и собственные взгляды на жизнь, хорошую, размеренную, наверное, подконтрольную власти, с денежной лихорадкой в жидкой крови, разбавленной аспирином, сытую, и на искусство, но все равно ведь — иные, не нашеские, «немецкие», как и давным-давно, в старину, с ее трезвым суждением о природе вещей и явлений, те, где не мы живем, а совсем другие народы, те, где почвы родной, насущной, помогающей выживать и дышать в любых обстоятельствах, нет для русского человека, те, в которых нет речи русской, чужие, совсем чужие для нас, а ежели даже и географически близкие — все одно для души и для сердца слишком далекие страны.

По мне, так уж лучше всего — найти, пускай и замутившись с этим поиском, верное слово.

А то парадокс получается. Очередной, на отечественной, ко всему-то привычной, почве.

Смысл и суть слова, в общем, — ясны.

А имени своего у слова — доселе нет.

Господи, осенило бы хоть кого-нибудь, что ли, однажды, — так, как когда-то — Губанова, со словом, девизом, призывом, кодом, ключем, ключом, паролем, набатом, символом, определившим путь всей нашей плеяды, — СМОГ!..

И, тем не менее, раз уж корежащее, нарушающее привычную артикуляцию словцо уже внедрено — временно — в нашу речь, придется, морщась, конечно, и сквозь зубы, само собой, да еще и с вызовом вечным боевым, врожденным, открытым, поигрывая желваками на обветренных, выжженных зноем, холодами прихваченных, крепких, азиатских, упрямых скулах, его иногда, что поделаешь, пусть нечасто, употреблять.

Андеграунд, наш, на отечественной почве, на почве, нам хорошо знакомой, родной, — сознательно повторяю, что именно русский, на ней, на нашей с вами, сограждане, порою еще целинной, а порой и возделанной почве, а не где-то там, за морями, в благополучных странах, — явление чрезвычайно сложное, уж поверьте мне, полное, впрямь под завязку, противоречий всяческих, на удивление пестрое, разнородное и разношерстное.

Всякой здесь твари по паре.

Наряду (так, видно, давно уже повелось, и в этом, что делать, есть какая-то закономерность, неминуемая, досадная, вопиющая, столько лет привносящая в нашу среду хаотичность, изрядную путаницу, нарушение понятий и правил, бестолковость и суету, словно вирусов разных, мутирующих моментально, в любую эпоху,

только б им расплодиться скорее, ну а там будь что будет, нашествие) с подлинными творцами — предостаточно, просто давать их некуда, так и роятся, мельтешат, раздражают, наглеют, набиваются и в друзья, и в соратники, тут же цепляясь за любую возможность как-то проявить себя, утвердиться, разгуляться, замарать, лишь мнящих себя таковыми.

За полвека столько, прямо вам скажу я, без церемоний, без намеренных скидок на что-нибудь примиряющее, стирающее незаметно углы и грани, для порядка, или в угоду неизвестно кому и чему, без оглядки на чьи-то мнения, рассуждения и догадки, в коих чувствуешь жесткость хватки, дирижерской палочки взмах, лишь бы вызвать брожение в умах, поддержать его и продлить по возможности долго, чтобы разобраться было труднее в том, что ведомо нам давно, в том, что, птицей влетит в окно, если надо, поскольку правду никому ведь не утаить, с нею надо считаться всем, в том числе и различным умникам, толкователям и гадалеям на кофейной гуще, радетелям за какое-то панибратство, не иначе, в искусстве нашем, в нашей, трудной для неопитов и любителей помолоть языками, литературе, запуталось и, завихряясь, туманясь, переплелось, что грядущим, вполне возможным, исследователям, надеющимся знатоками прослыть когда-нибудь постигаемого с трудом всеми, оптом, взаимодействия разнородных стихий, энергий, измерений, времен, пространств, долго еще придется добираться, кряхтя, до сути.

Это явление дивное, совершенно оригинальное, потому что — свое, незаемное, со своими, лишь так, достоинствами и своими, увы, недостатками, взлетами и падениями, поисками и открытиями, и уж точно, в этом сомнения не должно быть у всех, — небывалое, — на Западе нет и не может быть у него никогда ни отдаленного даже, пусть и крохотного, подобия, ни тем более двойника.

Наша неофициальная отечественная культура, быть может, задумана свыше была, вполне вероятно, что было все именно так, начиналась и развивалась — я сознательно повторяю и подчеркиваю всегда эту верную, ежели вдуматься, и правдивую мысль, — как новый, русский, ставший в двадцатом столетии неминуемым, Ренессанс.

Как обошлась жестоко с нею, с культурой, то есть хранительницей духовности, спасительницей души, советская, с кумачовыми знаменами над страну, от запада до востока, от севера и до юга, куда ни взгляни, действительность — всем нам хорошо известно.

Это трагедия, равных которой в зримой для нас, прожитой нами, выстраданной послевоенной истории страны — ведь губили, гноили, топтали, травили, дави-

ли, рушили, выжигали, уничтожали, по-вражьи, в раж и во вкус войдя, с остервенением, даже с наслаждением изуверским, с пунктуальностью запредельной, с монотонностью механической, непрерывной, бесперебойной, не что-нибудь там, а культуру, духовность свою! — немного.

Изломанные, изувеченные, печальные, страшные судьбы, исковерканные биографии, изнурительная борьба, год за годом, за выживание, постоянные, видно, по плану, по команде, вестимо, по графику, по спискам, с доносами сверенным, одобренным сверху, преследования со стороны властей, донельзя, вконец, да так, что страх поселялся в домах жильцом, прописанным здесь надолго, может — навечно, изматывающая всех, кого ни возьми, ни вспомни, не целыми днями вовсе, но целыми десятилетиями, всю жизнь, коль на то пошло, неопределенность, условность самого, куда ни взгляни, уязвимого, человеческого, беззащитного, бесправного существования в таких безнадежных условиях, риск, игра со смертью, повальная нищета, сплошные бездомницы, аресты, допросы, слезка, процессы над инакомыслящими — неминуемо задевающие и искусство, психушки, ссылки, милицейский и кагэбэшный, регулярный, всеядный надзор, отчаяние, алкоголь, невозможность свободно дышать, с великим трудом обретаемое душевное равновесие, запреты, втихую, но жесткие, исполняемые старательно, с рвением и усердием, на издание, во пределах русских, родных, поэзии и прозы, на выставки живописи, на исполнение музыки, — и, в противовес, вопреки этому многолетнему, нескончаемому кошмару, — становление духа, неистовая творческая работа, взаимопомощь, налаженная, бесперебойная связь с единомышленниками, интенсивное, замечательное, не заменишь его ничем, на высоких тонах, общение, выработанная в бурях, отчеканенная в невзгодах, кристаллов цельнее и чище, закаленнее стали, своя этика, не позволяющая идти на уступки, участие золотых, надежных друзей, пристальное внимание соратников по среде к сделанному тобой и сделанному другими, отсутствие, напроць, цинизма и эгоизма, жертвенность, высокое, высочайшее горение, понимание творчества как прорыва вперед, в грядущее, к звездам над миром, а то и как подвига, то наивность, то ясная трезвость в оценке той ситуации, в которой мы все оказались, гордое осознание собственной правоты и собственной, личной причастности ко всей одаренной когорте, к общему делу создания нового, только так, своего, навсегда, искусства, редкостная сплоченность и единство всей этой буйной, колоритной, мятежной братии, чуть ли не государство в государстве, вроде воинственной, вольнолюбивой, могучей, независимой Запорожской Сечи,

с тем уточнением, что принимались в нее не только мужчины-воины, но и женщины, тоже воительницы, с божественным образом жизни, со своими, лишь так, понятиями о чести и о достоинстве, особенностями пылкого, своенравного, пронизательного мышления и поведения на людях и в быту, своеобразной, искренней рыцарственностью, верностью идеалам, легендами, нравами, собственным стилем одежды, страстями, привычками, шкалою ценностей, речью, с высоким штилем и сленгом, способами добывания необходимых средств, так мы их называли, помню, к существованию...

Вот что более чем очевидно, даже на первый взгляд.

Ну а лучше всех, то есть верно, по Хлебникову, до точки, опыт весь призвав свой немалый, для поддержки, по-настоящему, понимает это лишь тот, кто и сам в нашей шкуре когда-то, в дни эпические, лирические, в годы прежние, побывал.

Отечественный андеграунд — явление, или творение наше, или горение, или же, как и сказать об этом, толком не знаю, как обобщить мне это, выразить точно и кратко, из ряда вон выходящее нечто, не только российское, но, следует помнить, общее для всей огромной былой Империи, произросшее на всей огромной, избыточной, чудовищной территории бывшего, упраздненного, за ненадобностью, в угоду неизвестно кому, Союза, — отсюда его многослойность, многомерность, вариативность, я бы сказал, что даже полифоничность, вот именно, как в музыке, если прислушаться к общему, состоящему из множества элементов, тонов и полутонов, звуков и призвуков, стройному, слаженному звучанию.

Создан он был не сразу, разумеется, но постепенно, с течением лет, служивших почвою для него благодатной, самыми разными людьми, буквально великим (здесь не место подсчетам дотошным из области математики, но не жизни конкретной) множеством людей, — причем, не забудьте, пожалуйста, запишите себе, для памяти, на заметку возьмите, среди его создателей, это важно, для вас, отметить, были не только поэты, прозаики, живописцы, композиторы, барды, актеры и так далее, но и те, кто слушал наши тексты на всякого рода чтениях — квартирных, частых, привычных, и более редких, бывших событиями, в институтских, переполненных до отказа, и в библиотечных залах, кто читал и перечитывал тексты эти с листа, заучивал наизусть, а потом в самиздате их охотно распространял, кто бывал, время от времени, в мастерских у художников левых и видел там, а то и на выставках кратковременных, живопись их и графику свежую, те, кто слушали на полулегальных концертах авангардную

музыку сложную или всеми любимый джаз, ценили наши, поклонники, собиратели, обожатели, друзья, подруги, приятели, пропагандисты ярые нашего творчества, жертвенные, вдохновенные, незабвенные, люди самоотверженные, искренние, живые, дорогие навек, те самые, которых стало теперь так немного, увы, — те, кому необходимо было и крайне важно всегда все то, что когда-то мы, их поэты, именно их, и художники, и композиторы, их любимцы, их вдохновители, современники их, создавали.

Сформировалась, как-то незаметно, сама собою, а может, вполне вероятно, по желанию высших сил, почему бы и нет, уникальная, иначе не скажешь, как там ни пытайся сказать попроще, подступней теперь, среда.

Помимо поэтов, писателей, художников и музыкантов, то есть людей сугубо творческих, личностей, жаждущих проявиться и состояться в этих, таких различных, но в то же время и родственных, несомненно, духовными нитями связанных областях, в нее, как свои, на равных, на таких же, общих для всех, условиях и правах, входили и правозащитники, и священники, и техническая, жадно тянущаяся к искусству русская интеллигенция, и студенчество, и колоритные, самобытные, иногда поразительно яркие люди из самых различных слоев тогдашнего, пусть и советского, не все ли равно теперь, как его называть, ведь другого тогда и в помине, вот что, просто не было вовсе, общества.

Было кому показать то, что ты сделал недавно.

Чаадаев не зря говорил: «Слово звучит лишь в отзывчивой среде». Заметьте: отзывчивой. Той, которая отзывается на звучащее слово. То есть — не просто из любопытства или из праздности, что ли, или же, может, из вежливости, нехотя, слову внимающей, но — конечно же, образованной, не случайной вовсе, но — избранной, и внимательной, и понимающей.

Лучше, пожалуй, не скажешь.

Поэтому и большая серия книг моих воспоминаний, вернее, моей, необычной, как нынче знатоки считают, весьма своеобразной прозы, над которой так много я работаю, называется «Отзывчивая среда».

Как теперь, в наши дни, по прошествии времени, отшумевшего незаметно, к тому же немало, вон их сколько, десятилетий, где-то там, позади, за гранью века, трудного для души и для сердца, бурного, страшного, но родного, нашего с вами, вот что нам забывать нельзя и среди нынешнего междувременья, и в грядущем, если, даст Бог, доживем до лучших времен, определить, когда, как и кем был создан и выстроен

в уникальную то ли систему, то ли звездную россыпь, то ли человеческую, земную, но с небесной защитой, общность разных личностей, разных судеб, разных, в общем-то, биографий, достижений разных, и в слове, и в других искусствах, единый, между тем, для всех нас, особенный, не вмещающийся ни в какие рамки, рвущийся на простор из застенков и из подвалов, прорывающийся сквозь сумбур городской и кремлевский гнет к свету, к людям, наш андеграунд?

Может, он был всегда, всюду, на протяжении всего двадцатого, толком не осмысленного, столетия, а может, поди разберись теперь в едва различимых, но доселе живых истоках, он существовал и раньше.

Литературные и художественные течения и группы начала века (акмеизм, футуризм и так далее), обилие всяческих, пестрых, долговечных и кратковременных, движений, объединений, сообществ, кружков, столличных, а также провинциальных, их расцвет, в двадцатых годах — это, в немалой степени, тоже ведь андеграунд.

Но он еще и осознанное, упорное, сквозь невзгоды со стиснутыми зубами, с желваками, с певчими горлами на вселенском диком ветру, в непогоду, среди бездомниц, нищеты, житейских нелепостей, толкотни вокзальной, привальной, с костерком ночным, передышки перед новым рывком вперед, в путь под звездами, предначертанный не случайно и с честью пройденный, с холодком рассветным отчаянья, со свечой извечною чаянья, со свершениями желанными, с обещаниями счастья туманными, с беспросветной тоской, с просветлениями, озарениями, прозрениями, серебром седины, всеобщее, наше, братья, противостояние.

Тут сразу же вспоминаются Мандельштам, прозорливец, скиталец, страдалец, судьба которого сквозь время, сквозь поворот незримой спирали космической сравнима с судьбой Шевченко, изгнанника и провидца, и обэриуты — Хармс и Введенский, и Заболоцкий, и Шаламов, — и вот уже выстраивается, растет, расширяется звездный перечень имен, без коих немислима отечественная культура.

А что такое, скажите мне, мистическое, провидческое творчество, многолетнее, без малейших надежд на издание, хоть когда-нибудь, в жутких условиях, в одиночестве беспросветном горьких дней, Даниила Андреева, если не андеграунд?

А судьба и творчество Анны Ахматовой, гордое, мужественное, с двадцатых до середины пришедших шестидесятых?

А долголетнее, тихое, упорное, вопреки любым катаклизмам, творчество Евгения Леонидовича Кро-

пивноцкого, подмосковного затворника и учителя многих славных людей, создавшего, в яви нашей, школу свою?

А над бедами поднимавшее, бескомпромиссное творчество Филонова и Малевича, Татлина, Фалька, Фонвизина?

А Шостакович, с его твердым сопротивлением, в музыке, в жизни, жестокому, беспощадному часто, режиму?

А вся история с «Доктором Живаго» — вначале с долгим и мучительным сочинением романа и поступательным, но решительным все же внедрением текста машинописного в сознание современников (я видел своими глазами пастернаковскую записку, позволявшую, в пятидесятых, одному из моих знакомых получить роман для прочтения, и сам этот акт сознательный, этот жест, широкий и щедрый, — мол, пускай молодежь читает самиздатовскую, тогдашнюю, второй экземпляр или третий, разберутся, перепечатку, — говорит, безусловно, сам за себя), а потом и с изданием, вынужденным, на Западе, своего, знаменитым ставшего в одночасье, многожды изданного, сокровенного произведения?

Список можно и продолжать, потому что мгновенно, тут же, по вспышке, так я подобные состояния называю, возникают вдруг параллели, сопоставления, нити, незримые, прочные, сразу же протягиваются от автора к автору, от читателя к слушателю, от слушателя к зрителю — и возникает, укрупняется, все растет понятие андеграунда, такое, как мы, живущие в начале столетия нового и едва проводить успевшие столетие предыдущее, себе его представляем — каждый, впрочем, по-разному.

Николай Шатров — не слышали? ничего о таком не знаете? — замечательный русский поэт, и десятая доля наследия которого так и не издана до сих пор почему-то — вот уж стыдоба для просвещенных соотечественников, ценителей драгоценной поэзии русской! — только я и делал на родине, в меру сил своих и возможностей, публикации в разных журналах, публикации, из которых целый сборник уже наберется, — ну и слава Богу, хоть так, пусть читают живое слово, —

Шатров, говорю я с грустью, вспоминая вновь Николая, человек небывалый поистине, по культуре своей, по развитию, по духовности ясной своей, человек просветленный, особый, ибо дар его был — осиянным, ибо люди, ему подобные, столь редки и неповторимы, — еще во второй половине сороковых годов и в начале пятидесятых, живя вдали от Москвы, в провинции, в глухомани духовной, писал стихи такой небывалой силы, каких, помимо Ахматовой, Заболоцкого и Пастернака, относившегося к Николаю, замечу здесь, с восхищени-

ем и неизменным почтением — несколько позже, когда, наконец, они познакомились и даже, представьте, сдружились, в то схлынувшее в былое навеки, грустное время в России никто не писал, —

но думал ли он когда-нибудь, что это и есть андеграунд?

И знал ли он вообще такое слово? Помилуйте, откуда? Конечно же нет.

Однако поэт настоящий, это знающий сам, без подсказок и мнений чьих-то весомых в придачу, он жил, он работал.

Вот так, мой читатель, жаждущий разобраться во всем, украсить вариациями своими, словно в музыке, музыке жизни, прежде времени, скромно звучащую, без фанфар и литавр, многотрудную и без этого грохота, тему, всю в беломлях сплошных, в миноре в основном, но с мажорной основой, вот что странно, не правда ли, тему, дорогую для сердца, мою, а не чью-нибудь там, то есть кровную, тему личную и трагичную, не без лирики, с примесью эпоса, как обычно я говорю, поясняя что-нибудь нынешним любителям старины, которая, между прочим, права была часто, по-своему, и которую вам осмыслить придется когда-нибудь, то островками, то порознь, где-нибудь в безнадежной глуши, на отшибе, да и в столичных коммуналках, — да мало ли где! — создавался, существовал наш отечественный андеграунд.

Время потом все равно собрало всех в единый сгусток, дало возможность общаться, работать и видеть воочию результаты этой работы.

Остался ли андеграунд в безвозвратно ушедшем прошлом — или, вполне возможно, живет он и в настоящем?

Да никуда, поверьте на слово мне, он не делся.

Куда ему исчезать? Что за надобность? Что за поспешность непонятная? Что за причуда? Что за прихоть, в конце концов?

Театральность какая-то, право, бутафория, с бархатным занавесом, с устаревшими вдруг афишами, с извещением о закрытии гастролей или сезона, с отзвучавшими и забытыми до поры до времени драмами и трагедиями, оставшимися разве только в памяти зрительской да в актерском репертуаре, в bestолковом предположении этом, тут же заглошшем, есть.

Исчезновение — мнимость. Условность. Прочерк рассеянный, сделанный кем-то чужим, посторонним, растяпой, ленивцем, давно и привычно скучающим на службе, в тексте, которому жить да жить еще, без таких вот, ни к селу ни к городу, прочерков, жить да жить, пережить поколения, позабыться, на время, чтобы, разом вспомнившись, оживая, возвратиться, уже навсегда.

Зачем ему пропадать? В каких, скажите на милость, неизвестных, дальних краях? За горизонтом, что ли?



Дама в шляпке

Пропажа — словно продажа. В рабство, может быть? На галеры? Куда еще? Пропадать — так с музыкой? Тоже бред.

Пропажа — словно поклажа. Тяжелая. Тяжелее тоски, например, матерой. И то ведь: была — и нет.

Андеграунд же, пусть не по-русски называется он, пока что, ничего, потерпим, когда-нибудь имя русское он обретет, — присмотритесь — здесь и повсюду, жив-здоров, да и вам того же пожелать в любую минуту дружелюбно вполне готов.

Как в минувшем существовал, так и ныне он существует.

Разумеется, безусловно, я не спорю, само собой, как и все абсолютно в мире, андеграунд, конечно, меняется.

Новое поколение — понимает его по-своему.

Ну а мы-то, старая гвардия, — понимаем его по-своему.

Каждый так его понимает, как умеет. И каждый — прав.

И любому он, при желании, свой характер покажет и нрав.

Следует помнить о том, что слишком уж многих соратников наших нет, как ни горько с годами осмысливать это, как ни трудно с этим смириться, как ни грустно без них, в живых.

Что ни пleyада, что ни компания — всюду зияния. Выбыли.

Были в когорте — и выбыли.

Нет их. Люди ушли.

Те, кто выжили чудом, — держатся.

Сызнова надо — выстоять.

Сколько помню себя — выживаю.

И — держусь. И — стараюсь выстоять.

Будучи верен давно уже, не от хорошей жизни вовсе и не от блажи, не по прихоти, не по причуде какой-нибудь, но по причинам разным, вполне серьезным, выработанной этике, никому себя не навязываю.

Знаю, что тексты мои все равно, вопреки преградам и нелепостям всяким наших свободолюбивых дней, превращающихся незаметно в друг за дружкой куда-то идущие, а куда же, да кто его знает, кто подскажет и кто увидит их отток, может быть, в никуда, в пустоту, а возможно, к высотам новым, радужным, долгожданым, подуставшие, битые, тертые и выдававшие виды годы, будут изданы, даже при жизни, не такой, как у всех, моей, непростой, заковыристой, личной, беспокойной, отнюдь не тепличной, но ветрами всеми эпохи неспроста, полагаю, оваянной, драгоценной, творческой жизни, жизни-песни, да, именно так, жизни-сказки, жизни-легенды, жизни жуткой, жизни прекрасной, жизни взрывчатой, огнеопасной, трудовой, поскольку тружусь я неизменно, упорно, всегда, и горит надо мной звезда, и лежит предо мною путь, и ясна мне порою суть бытия, и вселенной весть, а загадок и тайн не счесть, как и прежде, и новизна яви нашей щедра сполна, почитаема свято правь, и ее ты со мною славь, и открыты мне глубь и высь, и созвездья свечей зажглись в память прошлых суровых лет, и в грядущем я чую свет негасимый, — тексты мои, тексты, будем их так называть, и стихи, которых я столько написал, что хватило бы их не только на мост до серебряного месяца, как говорил Хлебников, но и дальше значительно, до Венеры, пожалуй, и проза моя, непохожая ни на кого, необычная, и по пластике, и по ритмам, и по структуре, проза — музыка, проза — поэзия, со своею полифонией и гармонией, со своими стилем, строем, дыханьем, законами, все, что я написал и, надеюсь, верю, впредь написать сумею, будут изданы и прочитаны.

Знаю твердо — правду свою.

Разумеется, как же иначе, ничего не поделаешь, так все сложилось давным-давно, и нельзя ничего теперь,

как ни бейся, переиграть, да и незачем это делать никому, ни мне, ни другим, даже с лучшими побуждениями, потому что, здесь нет секрета никакого, и нечего умные или в меру практические головы понапрасну ломать, не старайтесь, ничего не выйдет у вас, обойдется все без прикрас, без надуманных параллелей, без ненужных и глупых сравнений, надо ль сравнивать, ведь живущий несравним, как сказал поэт, все хорошее в жизни бывает, как и встреча в романсе старинном, только раз, единственный раз, я и раньше себя относил, что люблю, надеюсь, понятно, и доселе себя отношу к своеобразной, но подлинной, вот что важно помнить, культуре нашего андеграунда.

Каково мое положение ныне? Что ж, об этом — скажу.

Ощущение: приближения — к небывалому рубежу.

Состояние: сплошь — рабочее. Трудовое. Труды и дни.

Вижу: время теперь — охочее до других. Я давно — в тени.

Я — затворничаю. Сознательно. Я живу — от всех в стороне.

Только звезды смотрят внимательно на меня. Да луна в окне.

Только море со мной бескрайнее, как и прежде, на коротке.

Ничего в этом нет случайного. «Я один, и перо в руке».

Так сказал Гумилев. Одиночество, как и творчество, днесь со мной.

И провидчество, и пророчество — здесь, вот в этой глуши земной.

Речью русскою, исцеляющей от страданий и бед, я жив.

Речью, исстари возвышающей все, что пел, от людей не скрыв.

Когда меня, почему-то, в течение четверти века не издавали на родине, был я в неофициальной русской культурной среде очень известен, и даже — это было со мной — знаменит.

В эпоху, невероятную для нынешних поколений, для нового, незнакомого или, может быть, полужнакомого, на всех нас ни в чем не похожего, с примесью слова расхожего, с печатью нового быта, вместо скудных даров общепита советского, на молодых, без морщин и без шрамов, лбах, но с обильными татуировками на теле, свежего племени, в эпоху, можно сказать, мифическую, героическую, из былин, из легенд, из преданий глядящую прозорливо и пылливо сюда, на всех существующих, по выражению Толи Зверева: «я не живу, я суще-

ствую», и всех живущих все-таки, то есть осознающих себя живущими, самиздатовскую, поистине фронтовую, родную для нас, грозovou, читателей у меня было, и это ведь было, предостаточно, как и слушателей.

Жил я тогда, скрывать нечего здесь, очень трудно, временами настолько трудно, что казалось, труднее уже не бывает просто, ни с кем, в том числе и со мной, но всегда очень много, в любых обстоятельствах, даже самых жестоких, работал.

У меня было самое главное, неотъемлемое, очевидное и бесспорное, для людей окружения моего, для знакомых и незнакомых, знатоков поэзии, или же просто скромных любителей слова, дорогого для них, живого, пусть неизданного, не беда, ведь оно-то придет всегда к человеку само, придет, сквозь бесчашье, и страх, и гнет постоянный, сквозь сонм преград, и ему будет каждый рад, и оно приходило встарь, и горел среди дня фонарь, и горела свеча в ночи, и звенели вполтамах ключи, открывая за дверью дверь, и спасти от любых потерь нас общение вновь могло, словно вставшее на крыло над просторами всей страны, где стихи позарез нужны были в годы, когда брала в окружение души мгла, но, в бессилии озверев, исчезала среди дерев, растворялась, клубясь, вдали, уходя в никуда с земли, пропадая, сходя на нет, и высокого слова свет побеждал, уж в который раз, все дурное, чтоб слез из глаз понапрасну, зазря не лить, прозревая, а значит — жить, быть всегда самими собой, петь, дышать, не спорить с судьбой, ибо линии судеб вновь приводили с собой любовь, и надежду, и веру, впредь призывая смелей смотреть и в грядущее, и вокруг, вот и рос магический круг, или дружеский, или тот, что в бессмертье потом войдет, чтоб духовную в мире нить протянуть и всегда хранить все горение наше там, где небесный возникнет храм на крови людской, на земной почве древней, для всех одной, — у меня было самое ценное из всего, что могло только быть у поэта, скитальца, любимца человеческих добрых сердец, им дарящего речь свою щедро, всем, везде, у меня было — имя.

Под настроение или же, чаще всего, когда-то, в молодости, от безвыходности, мог я приехать в любой город страны, и крупный, и небольшой совсем, провинциальный, тихий, в глухомань какую-нибудь, в райцентр, — и меня там знали, и принимали там, охотно, порою — надолго, что бывало, конечно же, кстати — наконец появлялась возможность отдышаться, прийти в себя, пообщаться с единомышленниками, — и потом, с Божьей помощью, снова за труды свои браться — то есть писать, и стихи, и прозу, — те книги, а их немало, где давно уже сказано

все — о себе, таком, каков есть, и о времени, горьком — и все же драгоценном, прекрасном, чистом, и не чем-нибудь, а моем.

...Шелестели желтые листья под ногами, похрустывал снег в гущине лесной, таял иней по садам, клубилась над шляхом, поднимаясь столбами, пыль, рассыпался песок прибрежный с тихим шорохом в бухте дальней, вместе с плеском волны морской оставаясь в моем сознании, вызывая воспоминания, на мгновение сразив тоской, чтоб воспрянуть столь же мгновенно, поглядев на старые стены, услышав голоса вдали, чьи-то странные песнопения, или каменные ступени вверх куда-то меня вели, — был я счастлив, и счастье это стало целой лавиной света, нет, сиянием впереди, и души поднимало крылья, оставаясь целебной бальмой, и сжимало сердце в груди, и вставали ночами звезды над землей, и птичьи гнезда создавались, из края в край принося повсеместный щебет, лепет губ на заре и трепет слов, и буйство пернатых стай, и цвели хризантемы, или всюду розы с шипами были провозвестницами вестей о таком, что забыть не в силах, что откликнулось кровью в жилах на пороге людских страстей...

В долгий, сложный период скитаний я воочию убедился в том, что я пишу — не напрасно, что стихи мои — людям нужны.

Было столько видано мною, что казалось это — войною, многолетнею, затяжною, на просторах моей страны.

То с разбитою головою, то затравленный, волком воя, не в ладах с пустою молвою, поднимался я из невзгод.

Сквозь утраты и сквозь обиды, нищий, битый, выдавший виды и срывающий покров Изиды с тайн, вставал я и шел вперед.

С голодухи мои виденья и бессонные сплошь раденья то сгущались единой тенью, то дробились, роаясь вблизи.

С каждым шагом и с каждым взглядом продолжалась борьба с распадом, и казался мне сущим адом на пути поворот стези.

Дом родительский был спасеньем, он единственным стал везеньем, слов не сдавшихся воскресеньем, чувств хранилищем, навсегда.

Осень, лето, весна с зимою над мирскою цвели чумою, над бессмыслицею немомо, вместе с речью, не без труда.

С начала шестидесятых немалое, или, вернее, внушительное число любителей и ценителей поэзии собирали, по частям, по листочкам, каждую мою, рукою моею



Композиция

сделанную почеркушку, всякий мною написанный текст, и порой не где-нибудь, скажем, в музее литературном, что было тогда невозможным для меня, да и для музея, и вовсе не у меня под рукою, среди моих многострадальных бумаг, но именно там, у них, находилось то, что нередко мною среди бездомниц, — в силу множества обстоятельств, представляющихся сейчас даже мне, пережившему все это, фантастическими, чудовищными, небывалыми, зазеркальными и такими даже, в которых выживал я поистине чудом, но, однако же, выживал, восставал из всего, что мешало, что давно уже тяготило, от чего приходилось часто уходить, а то и бежать, чтобы где-нибудь там, в глуши, в одиночестве и покое, пусть и временном, и — на воле, что бывала тогда едва ли не важнейшим условием жизни, многотрудной и многогранной, с Божьей помощью, отдышавшись в тишине и в тепле, воспрянув, прозревая, работать снова, — постоянно терялось или забывалось где-то, а то и кое-кем потихоньку растаскивалось, так, на всякий пожарный случай, впрок, — а вдруг потом пригодится? — или даже уничтожалось, из боязни, из вечного страха, чтоб спокойнее жить, такими, что играли только в своих, а на деле были чужими, потому-то так относились и к бумагам, у них однажды мной оставленным на хранение, и к рисун-

кам, и даже к вещам, — и развеивалось годами мною созданное — с ветрами, просквозившими душу, всюду, где придется, по белу свету, разбазаривалось, воровалось, исчезало, уничтожалось, на помойки тайком выносились, в ключья мелкие ночью рвалось, торопливо в огне сжигалось и горело — да не сгорало! — возвращаясь ко мне — сквозь время — сбереженное, сквозь невзгоды, золотыми, видать, людьми.

Позже мне, как и многим другим современникам, литераторам, издававшимся редко или же находившимся в черных списках, то есть вовсе не издававшимся на родине, приходилось, чтобы кормить семью и не казаться властям праздным, что-то там пишушим в стол, в основном, тунеядцем, которого все считали почему-то, в богемной среде, и давно, серьезным поэтом, что никак не могло убедить в этом тех, кто жили по правилам общепринятым, твердым, советским, по каким-то странным понятиям, с директивами и приказами, со шкалою своих, по указке продиктованных сверху ценностей, зарабатывать, честно, упорно, как говорилось раньше, в поте лица, на хлеб переводами разливанной, как море, необозримой, расцветшей в любом ауле, в любом кишлаке, в горах, в долинах, в лесах, в степях, в пустынях и в городах, разноязычной поэзии народов СССР, — переводил я очень хорошо, это быстро поняли, — и в итоге образовалась почему-то целая очередь поэтов, декоративных, в основном, но порой и хороших, из союзных республик, жаждущих, чтобы книги их перевел именно я, только я, непременно — я, и никто другой, вот ведь как, — но к началу девяностых годов, нежданно для желающих, переводить я сознательно прекратил, — пусть и вышло к этому времени уже вроде и вдосталь сборников разных авторов, переведенных мною, столько труда и нервов, из упрямства, на это затратившим, из желания — сделать получше, а вернее всего — по-своему, дать дыханье чужим словам, сделать так, чтобы жили они в речи русской, чтобы звучали и для русского слуха — славно, чтобы лад в них возник певучий, ну а с ладом — и ясный свет.

С восемьдесят седьмого по восемьдесят девятый годы, в кои-то веки, так я скажу, вздохнув грустно и вспомнив долгий, слишком уж затянувшийся период, когда меня, человека, это уж точно, совершенно аполитичного, живущего только поэзией, только искусством, на родине, мною любимой с детства горячо, вообще не печатали, вышли три мои небольшие, очень скромные, книжки стихов, урезанные донельзя и старательно изуродованные имевшей и в пору бурной, на первый взгляд, перестройки в отечестве нашем, бывшем, вполне законное место и бесчисленные разветвления, по издательствам, и редакциям, и везде, вообще, где следо-

вало цепкий глаз внедрять, для порядка, да ухо держать остро, во избежание всяческих нежелательных отклонений от верного курса, цензурой, и они, эти книжки, вышедшие, наконец-то, казалось многим, но на деле с таким запозданием, преизрядным, не по летам, никакой мне особой радости, разумеется, не принесли.

Груз написанного за несколько полнокровных, в порыве, в полете, в неизменном движении, вверх, вглубь, и ввысь, и вперед, к открытиям и прозрениям, в стихии речи, в сонме тайн и гармоний новых, щедрых творческих десятилетий тяготил меня и томил.

Это, к чести их, понимали некоторые мои надежные, настоящие, проверенные на прочность, как любили мы говорить меж собою порой, друзья.

Они настояли, буквально, заметьте себе, настояли на издании книг моих, многих книг, в их подлинном виде.

В книгопечатании, вот что важно, как раз к началу девяностых произошли радикальные изменения.

Похоже было на то, что начиналось повсюду, по городам и весям, всеобщее просветление.

То, что ранее напечатать было попросту невозможно, теперь почему-то стало возможным. Вот чудеса!

Смилостивились, наверное, глядя на нас тревожно и участливо, с пониманием, высокие небеса.

Друзья, да еще и отзывчивые издательские работники, спасибо им, добрым людям, всем, помогли мне издать, одну за другой, небольшим тиражом, так уж вышло, девять книг стихов моих, девять книг, значительных по объему.

Вернее будет сказать так: это — семь томов стихов моих, в девяти, чередой вышедших, книгах.

Вот названия их, по моей хронологии, начиная с шестьдесят четвертого, вслед за которым пришло время СМОГа и другие, хоть и тяжелые, но крылатые времена для меня: «Путешествия памяти Рембо» (в двух книгах, поскольку только так издать удалось), «Возвращения», «Отзвуки праздников», «Ночное окно в окне», том в твердой обложке «Звезда островитян» и написанные в девяностых «Скифские хроники» и «Здесь и повсюду» (в двух книгах, крохотным тиражом, не в Москве уже, а в Кривом Роге).

Книги мои — недаром был я уверен в этом еще в молодые годы свои, молодые, Боже, то есть давным-давно, знал, что когда-нибудь так все в итоге и будет, — к читателям сами пришли.

Читатели же мои — ждали их, терпеливо, надеясь отчасти на чудо, но больше на справедливость космиче-

ского порядка, скорее, чем на бравурные изменения в жизни общества и строя, тоже давно.

Множество добрых, серьезных, важных, полезных отзывов, разных, устных и письменных, было на эти книги — от настоящих моих, живущих кто где, и в России, и в прочих, сплошь зарубежных, вот как нынче вышло, читателей.

Кроме кое-каких урезанных, по привычке или сознательно, так, на всякий случай, редакциями, воробьиного носа корочке, небольших заметок в газетах, никаких статей и рецензий — ничего — о книгах моих — к удивлению и досаде настоящих моих читателей, поначалу лишь огорчавшихся, а потом, постепенно, ставших кое-что понимать, а позже — наконец-то и прозревать, — в периодике нашей, донельзя переполненной новостями на все случаи жизни, дорвавшейся наконец до желанной свободы, многогласной и смелой, не было.

Все это показательно, даже больше, закономерно, именно в наши дни, в переходное, промежуточное, торопливое время, сейчас, когда, как обычно я говорю со вздохом, не то что понимания, но и внимания, человеческого, простого, в кутерьме сплошной, в суете, в толкотне пустой, в маете, в разобщении, не дождешься.

И в который уж раз, сознательно, чтобы поняли, что к чему, чтобы в корень глядели, чтобы научились видеть и слышать нити, тропы и струны времени, повторяю я — зрящий, слышащий, — то ли новью земною днешной, то ли кровью людской кромешной, то ли явью, почти нездешней, отзывающиеся слова: не случайно, совсем не случайно самое что ни на есть распространенное ныне выражение — без лица, без нутра, без голоса, — «как бы».

Как бы время. Как бы свобода.

И так далее. Вот она, мгла! —

в маске — встала над мутной водою, обернулась — разрухой, бедою.

Что — в пространстве, под смутной звездой?

Пепел, угли, смола да зола.

Да столетье — родное, седое.

Да разброд. Рубежи — чередою.

Да сиянье — вдали — золотое.

Да остаток земного тепла.

Начиная со знаменательного для меня, а может, и знакового девяносто первого года, живу я, став поневоле затворником, даже отшельником, так привыкли считать, ну и ладно, пусть считают, не все ли равно, мне-то что, в основном в Коктебеле.

В Москве, из которой стремительно и едва ли не навсегда, на глазах у всех, на виду, в какую-то эмигра-

цию запредельную, что ли, куда-то в Зазеркалье, как можно дальше, уходит, махнув рукою на прощанье, высокий дух, оставляя всех нас в сиротстве новоявленном, непривычном, страшноватом для душ, лишенных прежних крыл, я бываю редко.

Так редко, что проще, пожалуй, сказать: почти не бываю.

Обстоятельство это дало подходящий, удобный повод моему знакомому давнему, поэту, весьма известному, Жене Рейну, как-то, наверное, не без умысла, скрытого слишком примитивно, под настроение, что возможно вполне, заявить, и не где-нибудь вдалеке, но, представьте, здесь же, поблизости от меня, у нас, в Коктебеле, то есть буквально в нескольких, всего-то, шагах от меня, — говорю об этом сейчас и еще говорить намерен, потому что это — не шуточки, потому что это меня и задело, и даже ранило, потому что это иначе как безобразием и назвать-то мне никак, поймите, нельзя, — так и есть, безобразие просто, безобразия, да и только, — показательно для «как бы времени», — а для Рейна — что же? — привычно? органично? в порядке вещей? — сомневаюсь, — да кто его знает, если так вот, вдруг, между прочим, преспокойно он мог заявить:

— Алейников исчез с литературного горизонта.

Я, конечно же, возмущился.

Даже в ярость пришел тогда.

Что это за нелепые, необдуманные заявления?

Так, лишь бы брякнуть что-нибудь на людях, между прочим, вскользь, чтобы сразу поняли: все-то он, Женья, знает?

Что это за всезнайство липовое? Зачем ему все это? Да к тому же это ему не идет.

Вроде бы человек серьезный, действительно знающий литературу, положим, или кинематограф.

Импulsивный, понятно, мнительный, ревнивый, с кем не бывает, наверстывающий упущенное, но хороший ведь человек.

Талантливый, даже очень. Чем же он озабочен? Тем, что давно с ним не виделись? Ну, возьми да в гости нагряться.

А тут сам, зачем, неведомо, словно вполне осознанно, взял да провел меж нами ненужную, острую грань.

«Исчез!» Подумать ведь только! Да еще и «с литературного горизонта»! Ну и бредовое, высреннее выражение!

Что-то со вкусом нынче, с точностью изъяснения у знакомых моих происходит. По верхам сплошное скольжение.

Никуда я не исчезал.

Только и делаю, что работаю да работаю.

Пишу, как и прежде, стихи, прозу, воспоминания.

Люди — мои читатели — сами ко мне приходят.

И книги мои — выходят.

Впрочем, несколько позже, со временем, которое, как утверждают издревле, действительно лечит, со временем, проясняющим изреченные мысли, дабы отчеканить их, по возможности, по способностям человеческим и потребностям, неминуемым, хоть единственный раз, в слова, тот же Рейн, уже с пафосом явным, и не только с пафосом, но и, как почудилось мне, с убежденностью, даже больше — по-человечески, честно, искренне, ясно, просто, говорил, какой я великий — для него — человек и друг, да еще — какой я великий, как он, Женья, считает, поэт.

Вот какие, увы, перепады, непредвиденные, с парадоксами, в настроениях у знакомых и в самом выражении этих настроений загадочных, скачущих ртутным столбиком, — в слове — бывають!

Но это — еще цветочки.

Ягодки — впереди.

Это просто-напросто меркнет перед вырвавшимся на волю из глубин души, где, возможно, даже в полдень были потемки, озадаченным восклицанием друтого, и тоже давнего, знакомого моего, ранее, в годы советские, — известного правозащитника, борца с режимом, упрямого, негнбаемого, с характером, нынче — довольно известного российского, из лагерей вырвавшегося прозаика, Лени Бородина, которому я однажды, году в девяносто четвертом, припомнив бывшее, припомнив общение наше, хорошее, дружеское почти, в нелегкие для обоих восьмидесятые, как-то, расчувствовавшись и сразу же, конечно же, разволновавшись, поскольку все близко к сердцу принимаю, так уж устроен, разыскав среди старых записей поистершийся номер его телефона домашнего, голос услышать захотев, узнать — как он, что с ним, здоров ли, пишет ли, издает ли теперь свою прозу? — взял да вдруг, по чутью, по наитью, как бывает всегда, позвонил.

Он с ходу воскликнул:

— А мне сказали, что ты умер!..

Вот уж, иначе не выразишься, поистине чудеса!

Ну, сказали тебе, допустим, да мало ли что говорят столичные безобразники, так, чего уж проще, возьми да позвони, спроси у близких моих, узнай сам, не с чужих, услышанных от кого-нибудь где-нибудь слов, где я, что со мной, лично, сам, удостоверься, что жив.

И такое, как видите, нынче, в годы мнимой нашей свободы и жестокого разобщения человеческого, бывает.

Ничего не поделаешь. «Редко, но бывает». Пора привыкать?

Но — к чему? К абсурду и бреду? И кого в этом нам упрекать?

Лишь одно меня утешает: не случайно, знать, говорят, что, согласно поверью старинному, если думают почему-то, что ты умер уже, это значит — долго будешь еще ты жить.

Хорошо бы, коль откровенно говорить, пожить мне подольше.

Для того, чтобы сделать больше.

Чтобы замыслы — вон их сколько, и не счесть, поди, сразу — свои, как всегда — не как у людей, раз-два, и обчелся, и хватит, нет, куда там, с размахом, с полетом, среди стихий, измерений, времен, и пространств, и тайн, и наитий, и открытий, среди гармоний, — максималистские, да, только так, и никак не иначе, искони, и навеки, в слове, в зрелых-то, это уж точно, своих, с трудами, столь нужными для души, привыкшей, давно уже, день за днем, упорно трудиться, в летах находясь, воплотить.

Не случайно, ох, не случайно Чуковский Корней Иванович говорил, что в России писателю долго жить надо. Прав он. Теперь его стал и я наконец, прозревая, возмужав, погрузнев, понимать.

Долго — значит, не для безделья, не для прихотей, не для блажи, даже здесь, в глуши киммерийской, или, может, в прибрежном раю, где живу я, седой, борода-тый, скиф, певец эпохи, треклятой и прекрасной, светом объятый сквозь туман, а для многих трудов.

Для того, чтоб дыхание речи, по возможности, в мире продлить.

Долго — стало быть, не в одиночестве, даже в горечи дней, а с Богом.

Как бы время рождает новые, в годы прежние невозможные, как бы правила, как бы надежды, как бы — вроде бы — отношения.

Увы, это вовсе не время, помнить надо, а меж-дувременно.

Одной ногой — мы стоим в прошлом, другой — пытаемся шагнуть, шатаясь, вслепую, наугад, не упасть бы, в будущее.

Старые ориентиры — далеко позади, а новые — надо еще разглядеть.

Привычное уединение и светлая сосредоточенность, пушкинские, подтвержденные опытом всем, оправдан-ные каждым словом, покой и воля — вот что нужно мне, давно уже, с юных лет и доселе, всегда и везде, для ра-боты моей.

Оттого я и в пору безвременья, при малейшей даже возможности, уезжал из Москвы и работал в основном в родительском доме, в Кривом Роге, на Украине, где я вырос, где почва моя, где истоки, где родина речи.

Теперь я живу годами в доме своем, у моря.

Всегда я мечтал об этом — и это все же сбылось.

В нынешнем, какбывременном, грязноватом и не-разборчивом в средствах при достижении цели, мер-кантильной обычно, хаосе участвовать я не желаю, брезгую, руки потом ведь не отмоешь, в него соваться незачем, нет, нельзя категорически, в нем гибельная закуска, болотная мешанина, — да к тому же мне про-сто некогда.

Мне идет, как ни грустно такое вспоминать, как ни трудно об этом говорить, пусть нечасто, вкратце, как ни странно, седьмой десяток, и надо, в моем-то возрас-те, еще очень многое сделать.

Конечно, что есть, то есть, и факт остается фактом, ничего не поделаешь с этим, да и делать, если пошло на то, ничего не надо, нет в этом нужды никакой, мало ли что бывает на свете, в мире, с глобальным подходом к простым вещам, да и сложным, до кучи, понятиям, андеграунд — не весь, разумеется, частично, в отдель-ных случаях, весь-то вряд ли на это купится, потому что живы понятия, до сих пор, о долге и чести, о горении и призвании, и не стерлась все-таки память о великом братстве богемном, и не выжжены идеалы прежних лет железом каленым отношений нынешних, новых, с их ту-совками и разборками, с их практичностью и цинично-стью, и непросто, с их непривычностью, нам навязанной, выживать, и приходится не сдаваться, монстров сонмам сопротивляться, — превратился в истеблишмент.

В любые ведь времена кто-то да продается, кто-ни-будь да пристраивается поудобнее в этой жизни.

Велик и коварен соблазн остепениться, быть, дорвавшись до выгод и благ, вроде бы уважаемым.

Только — ну-ка признайтесь — кем? Липовыми по-читателями?

Обществом? Каково это хваленое общество?

Дух покидает нередко таких вот бывших сорат-ников.

На смену былому горению — приходит жалкое тление.

Никого я не осуждаю, ибо каждому ведь свое, каждый волен, если приспичило, поступать в наши дни по-своему.

Нельзя — изменять себе.

Нельзя — выдавать, лукавя, желаемое за действи-тельное.

Нельзя — хорохорясь, работать на потребу псевдо-культуре.

В грядущем — «как слово наше отзовется»? Во-прос — на века.

Ответа — не слышно. То-то и оно, как любят порою приговаривать люди простые, далекие от искусства,

но близкие, ближе некуда, к повседневности, к жизни, к яви.

В искусстве всегда должно быть — «то», а вовсе не «то-то».

На то оно и искусство.

Поневоле снова, с улыбкой, и со вздохом вслед за улыбкой, и с прищуром грустным сегодняшним, вспоминаю один эпизод.

И еще, при случае, вспомню.

Может, я говорил об этом где-нибудь? Ну и что с того?

Никакой это не повтор.

Это, прежде всего, — утверждение моей собственной, личной, позиции.

Однажды в ПЕН-клубе, где я, человек, далекий от всяческой суеты, групповщины, казенщины, канцелярщины, официальнойщины, состою в числе разновозрастных, разномастных российских писателей и поэтов, бывших властителей дум и нынешних посетителей презентаций и премиальных церемоний, мои знакомые, почесывая затылки облысевшие, протирая запотевшие в духоте, в толкотне, в болтовне, повальной, непотребной, стекла очков, гадая, недоумевая, вопрошая обескураженно, почему это я, в недавнем, сравнительно, прошлом, такой — несмотря на то, что меня, при советской власти, в отечестве четверть века не издавали, но потом-то, в свободной России, все же вышли книги мои, их читают, их любят, ценят, — широко известный поэт, даже, можно сказать, знаменитый, ну, по-своему, да, но все же, здесь, кого ни спроси, да припомнят, поднапрягшись, тряхнув стариною, непременно, строки мои, — затворником натуральным живу вдали от Москвы, твердили мне, поднимая назидательно указательные заскорузлые пальцы свои, головами качая в такт, выразительно, укоризненно и сочувственно глядя в глаза или, чаще, куда-то глядя мимо глаз: надо быть на виду, надо, принято так сейчас тусоваться, иначе забудут, или, в лучшем случае, станут все, так проще намного, и легче, и спокойней, считать блаженным.

И тогда, все доводы выслушав, я ответил знакомым так:

— Хорошо, считайте меня блаженным. Но тусоваться, вместе с вами, теряя время, просто некогда мне. Я работаю.

И знакомые отшатнулись от меня — и простерли руки к небесам — и седые головы предо мной склонили они.

И смотрели мои знакомые на меня, как, наверное, смотрят на пришельца с другой планеты в их, с тусовочной практикой, дни.

Был навсегда закончен переговорный раунд.

Жить — не учили больше.

Это ли не андеграунд?

Спас ли, ежели громко, с пафосом неминуемым, об этом сказать, андеграунд, наш, разумеется, русский, вовсе не заграничный, лишь о нашем веду я речь, нашу, могучую, русскую, лишь о ней мое слово, культуру?

Да, он самый, такой-сякой, руганый-переруганый, обвиняемый ретроградами во всех возможных грехах, порицаемый, осуждаемый всеми, оптом, кому не лень, изучаемый с запозданием преизрядным, и то по верхам, наобум, понаслышке, вслепую, прославляемый с осторожностью, уж как водится, задним числом, все же помог ей выжить.

Предпринял ли он, андеграунд, отечественный, конечно, хоть когда-нибудь определенные усилия для разрушения ее, культуры отечественной, традиционного кода?

Разрушители были и есть, как известно, во все времена, при желании можно их счесть, но на деле-то грош им цена, а в будущем — лишь презрение наших, умных, надеюсь, потомков.

Важны всегда созидатели, их не так уж много, — но все-таки они, созидатели, русскую культуру, в который уж раз, настрадавшись при жизни, спасли, продлили ее дыхание.

Спросит кто-нибудь: каковы были — если такие были — отношения между нашим андеграундом и «публикующейся» литературой, — шире, чтобы все охватить, — искусством?

Традиционный вопрос.

Понимаю, что без него, лежащего на поверхности, встающего перед глазами у нынешних культурологов, — так теперь называют этих толкователей, подводящих базу некую под любое направление и движение, шаг, и жест, и шепот, и крик, все годится, был бы предмет для того, чтоб молоть языком, рассуждать о том да о сем, с умным видом, все обосновывать, сочинять статьи, даже книги, притворяясь, что разбираются лучше всех они в месиве этом, — наподобие странного знака, из пространств ледяных Зодиака к нам, на Землю, порой летающего, почему-то напоминающего то басовый ключ, то скрипичный, то какой-то штрих нетипичный, то, из надписи на заборе старом, буквы, известные всем, то фетиш, то дикарский тотем, то египетский иероглиф, вроде шахматного ферзя, то шуруп, — ну никак нельзя.

Говорить за других — не буду.

Полагаю, что сами они, хоть однажды, способны высказаться.

Посему — скажу о себе.

Начиная с давних времен, с шестьдесят второго еще года, от официальных литераторов, от поэтов, широко известных тогда, в основном, в том числе и действительно хороших, и авангардных, по тогдашним, с восторженным тоном, в разговорах о них, торопливо, иногда, на глазок прикинутым восхищенной публикой меркам, и советской ругательной критикой, словно в сказке, мгновенно, стремительно, до небесных, почти, высот, вознесенных, вроде Миколы Винграновского на Украине или сверхсовременного, левого, с молодецким задором, героя и звезды, на унылом фоне прочих, слишком традиционных, в большинстве своем, устаревших безнадежно, прежде всего для читающей и бунтующей, ждущей звездных своих билетов, романтической молодежи, к новизне устремленной, Андрея Вознесенского, в притягательной для наивных провинциалов, на семи холмах своих вставшей посреди империи грозной, многобашенной, красноречивой, благосклонно стихам внимавшей, нам казалось тогда, Москве, да от всяких, не называть ведь всех подряд, слышал я когда-то о себе и своей поэзии в досталь очень хороших, лестных, а порой и самых высоких, выше некуда просто, слов.

Поэт, почитаемый мною, настоящий, знающий цену слову, Тарковский Арсений Александрович, не случайно, видимо, но со всей присущей ему серьезностью, в любых своих, четких, веских, сжатых, обдуманных фразах, репликах и суждениях, произносимых им твердо и независимо, в любых, где бы ни был он, даже вовсе не кабинетных, но почти фронтовых обстоятельствах, еще в шестьдесят пятом и шестьдесят шестом годах, в период гонений на меня, по причине разгрома разгневанными властями легендарного нашего СМОГа, встав на мою защиту по собственному почину и проявив при этом небывалую силу духа, втолковывал официальной, чуждой ему совершенно, злобной, жаждущей крови, писательской шати-братии, что в стихах моих «каждая строчка гениальная», что меня следует не губить, а поддерживать и беречь.

На моем, для всех неожиданном, устроенном как-то спешно, по чьему-то, видать, указанию сверху, чтобы взглянуть на меня, заодно и послушав, что же там я пишу такое, что шум неумолчный вокруг меня и не думает угасать, но, скорее, наоборот, разрастается непрерывно, раздражая кое-кого, удивляя и озадачивая, да все чаще, авторском вечере, прямо в логове вражьем, в «гадюшнике», так его называли все мы в середине шестидесятых, то есть прямо в Центральном доме литераторов, то есть тогда же, в отдаленные, уходящие постепенно в область преданий, в мифологию, озаренные молодую мою славой, незабвенные времена, в феврале шестьдесят шестого, те, кто слушали, как стихи свои всем собрав-



Натюрморт

шимся здесь читал я, то вздыхали от чувств нахлынувших, то слезу пускали украдкой, то, совсем не скрываясь, плакали, выражали бурно свое восхищение, и наиболее потрясенные ими услышанным почему-то упорно и слаженно, будто слова другого, попроще, не могли второпях подобрать, чередую, один за другим, называли меня «самородком», что, по их представлениям, видимо, представление всем давало о таланте моем, полновесном, и — каком же еще? — золотом, называли — как обзывали, а казалось им — величали, — ну а некий особенно пылкий, возбужденный, взъерошенный слушатель вдохновенно с места вскочил — и, рукой на меня указывая, как отрезав, громко, уверенно, зная дело, видать, со значением, с медью в голосе, с блеском в глазах, со слезою, впрямь различимую на его румяной щеке, огорчительно броско, актерствуя, слишком прямолинейно, подчеркнуто и торжественно всем заявил:

— Кого мы, товарищи, видим перед собой сейчас? Мы видим, товарищи, нашего простого советского гения!..

И так бывало когда-то, встарь. И не только так. По-всякому, так скажу я теперь, когда-то бывало. Да мало ли что — если вспомнить хорошее — поче-

му же не вспомнить хоть иногда об этом? — в прежние годы, во мгле бесчасья глухой, где жили мы все, и в годы, когда посветлее стало вокруг, — обо мне говорили?

Если даже десятка три в превосходной степени выдержанных, тех, давнишних, серьезных высказываний — о стихах моих, — исходящих от писателей официальных, здесь, в столбец, попробовать выписать, то займет это все, пожалуй, не один десяток страниц.

Для себя — ни выгод, ни благ никаких не извлек я из этого.

Мне и в голову не приходило — что-то там, для себя, извлекать.

Говорят — значит, так считают.

Ну и ладно. Пускай считают.

Это — личное — их — мнение.

Это — личные — их — похвалы.

Мне же следует — двигаться дальше.

Мне же — надо просто работать.

Что и делал — в годы былые.

Чем и занят — в зрелых годах.

Мнение о моем творчестве сформировалось в бурный и ослепительно яркий период СМОГа.

Да так, почему — неведомо, не загадка ли это, в памяти некоторых современников и остался я, это надо же, автором молодых своих писаний, стихов, которые они до сих пор не усвоили и не осознали, — что уж говорить, да и с кем говорить, о моих, недоступных, видимо, для сознания их, необычных и по форме, и по содержанию, с максимальной, светлой, оправданной и единственно верной свободой в каждой фразе, полифонией, тяготением к синтезу, пластикой, речью, с музыкою в родстве, смелой ритмикой, долгим дыханием, по чутью, по наитью созданных, как всегда, позднейших писаниях?

Из писателей официальных толком никто никогда ничем — кроме добрых слов порою, сказанных искренне, а то и написанных даже, в письме, например, обнаруженном этак лет через двадцать, тридцать, случайно, когда бумаги уцелевшие я разбирал, — мне, беззаконной комете в кругу, расчисленном кем-то, разнообразных светил, сомнительных, тускловатых нередко, призрачных даже, как месяц дневной, фантомных, типичной белой вороне, заезжему странному гостю, пришельцу инопланетному в компаниях и группировках, везде, где свои понятия были о том да о сем, свои блюлись интересы, задачи житейские ставились и творческие свои, свои выдвигались лидеры, свои достигались цели и средства любые годились для этого, — не помог.

Да и я никогда ни к кому с просьбами о пристроении текстов своих, со времен юности, не обращался.

Хоть куда-то? Лишь бы — в печать?

Лишь бы где-то — публиковать?

Просить об этом — кого-то?

Зависеть — вдруг — от кого-то?

Нет. Не в моих это правилах.

Этика наша, тогдашняя, но, скорее всего, всегдашняя, не позволяла идти на поклон к неприятным людям, обивать пороги редакций, унижаться, обиды терпеть от чиновников и прощелыг, от разнuzданных псевдоумников.

Чтобы тексты мои читались, попадали в хорошие руки, мне, в течение долгих лет, слишком долгих, так уж сложилось, по судьбе, что же делать, было достаточно самиздата.

Мне всегда была дорога независимость, ну а нынче, в дни таких испытаний на прочность, что подумашь: Боже мой, ничего себе времена, и поди гадай, отрываясь от своих трудов постоянных, ненадолго, чтоб, отдышавшись и встряхнувшись, их продолжать, что труднее и что дороже, старина ль, где были мы вхожи в наших грез и надежд чертоги, или то, что пришло в итоге и чертоги крушить принялось, и незнамо что началось, распоясалось, раскрутилось, расплодилось и раздробилось, разгулялось в лихом галопе, точно в детском kaleйдоскопе всех деталей цветастых рой, кто за этой стоит игрой, что встает впереди, в туманах, что в сплошных предстоит обманах отстоять, утвердить, сберечь, и чему же порукой речь, и кого же она спасает и по-прежнему не бросает, и откуда ветер такой над безмерной моей тоской, над бездонной морскою бездной поднимается, с мучкой крестной, по старинке, накоротке, и откуда цветок в руке, хризантемы осенней ветка, и какая стезя нередко приведет на порог печали, и зачем головой качали облетевшие тополя, и куда повернет земля всех радений былых и встреч, и зажгутся ли сонмы свеч в разобщенье земном, где миг понимания столь велик, что с вселенной сравнялся вдруг, и разъялся незримый круг, и духовные нити вновь протянулись, и есть любовь, чтобы их на заре скрепить да криничную воду пить в глухомани моей, в тиши, что надежнее для души, чем столичная кутерьма, и расцвет моего письма продолжается сквозь распад, раем сделав кромешный ад, чудом сделав окрестный бред, и целебный забрезжит свет впереди, за горами, там, где негаданных вдосталь драм, где трагедий и впрямь не счесть, где грядущего чую весть, благо явь с давних пор со мной, и прозренье придет с весной, чтобы петь, словно в первый раз, в ясный полдень и в добрый час, — ничего себе времена, и какие встарь семена были брошены в почву нами, чтоб взошло над рост-

ками пламя, и развеялось, и ушло, и расправленное крыло не обуглилось, и весло не сломалось на лодке где-то, и настало для мира лето просветления, после гроз, и сказал бы я всем всерьез, что в единстве живем давно и в родстве с тем, что нам дано, и дорога сквозь век долга, — тем более дорога.

Разрешенная, официальная литература, и, в паре с нею, искусство, такое же разрешенное, официальное, — и наша среда, в которой была, да и есть, и останется, наша литература и наше искусство — два разных, таких далеких, что дальше некуда вроде лагеря, — нет, если официальщину всякую называть можно сегодня лагерем, что вполне для нее годится, то нам, пожалуй, пристало имя другое — стан.

Стан — в этом нечто звездное, раннее, но и позднее, дали, да небо грозное, воля, порыв, разбег.

Свет и полет, горение, чувств и речей дарение, жизнь, вопреки старению, взгляд из-под влажных век.

Свечи в ночи, молчание, темных теней качание, долгое вновь прощание, ветер, уменье ждать.

Встреча в пути нежданная, осень, пора туманная, верность, весна желанная, гордость и благодать.

Стан — это круг живой.

Сад с золотой листвой.

Стан: драгоценный сон.

Стан. Или, может, — стон?

Стан: отрицанье стен.

Стень. Или — кровь из вен.

Стан. И над ним — звезда.

Творческая среда.

Никогда не был я перебежчиком, никогда не пытался подладиться к чему-нибудь, чуждому мне, противному, неприятному, отвратительному, ненужному, ради мнимых каких-то выгод и дешевых базарных льгот, в общей стадности, групповщине, по какой-нибудь там причине пребывать, от кого-то зависеть, изловчиться, как-то подстроиться — к чему и кому? зачем?

Одиночество — мне по нраву.

Я имею на это право.

В этом — доблесть моя. И слава.

Путь в грядущее. Насовсем.

Был всегда я сам по себе.

И за все — спасибо судьбе.

Потому что она — моя.

Вместе с клеймами жития.

Образ времени. Голос. Речь.

Все, что с детства сумел сберечь.

Все, что создал — во мгле земной.

И поэтому Бог — со мной.

Литературоведам и нынешним искусствоведам, людям, с большим запозданием идущим за нами следом, всяким, и потолковее, и по верхам глядящим, чающим пустословия, с умничаньем скользящим, амбициозным часто, вот, мол, они зубасты, многого просто не знающим, что-нибудь вечно хающим, что-нибудь возвышающим, что-то за всех решающим, удобно сбивать нас в стаи, в какие-то группы, течения, вроде организаций общественных, с канцелярским, компьютерным и чернильным неистребимым духом, — так им проще намного, привычнее, так спокойнее, по традиции, устаревшей давно, замшелой, только нет им до этого дела, только что им чей-нибудь смелый взгляд на вещи, им недосуг разбираться во всем, что было, что дышало в полную силу, что наполнило кровью жилы, чьею новью светло вокруг, так, на всякий случай, надежнее, так удобнее, прежде всего.

Но литературу, искусство и в былые года, и теперь, в наше с вами, вроде свободное от нелепых оков и запретов, от всего, что мешало дышать, петь, работать, рваться в пространство, познавать этот мир, в котором, слава Богу, все мы, земляне, современники и соратники дорогие, доселе живем, а на самом-то деле сложное, как и прежде, как и всегда, как и в будущем, полагаю, тоже будет когда-нибудь, время, создавали и создают — личности, единицы.

При любых обстоятельствах я, искони, всегда и везде, на юдольном пути, ведущем к заповедной звезде, стремился, восставая из бед упрямо, воскресая в огне, встречая новый день, словно дар небесный, оставаться самим собой.

Разрушению мира я противостою — словом.

